ЗА ГОРОД

(Из романа «Закрытый город»)

Наверное, было шесть лет. Мама сказала: «Инесса, будем ехать». Сказала одеваться. И, наверное, сказала куда, но я пропустила мимо ушей, это были не мои дела – по которым нужно было ехать в центр города (говорили просто – в город) или куда-то на другой конец города, к пыльным кабинетам с бумагами, или за какими-то вещами в магазины, долго стоять в очередях, или к маминым подругам. Не любила запах маминых духов. Их выпускают до сих пор, французские, дорогие, даже не представляю, где мама их тогда доставала, но она пользовалась ими всегда после слов «будем ехать», а я не любила ехать и не любила острый цветочный запах. Волосы она зачесала назад, свернула узлом – даже меня пугало её открытое лицо, из-за красоты строгое, потому что все остальные не могут дотянуться до красоты.

Я оделась, настроенная на своё. Отец был ещё в командировке, а саму меня не оставляли. Мы вышли на двор, на прогретый солнцем асфальт – уже осень, но было тепло, как летом, я срывала по пути на остановку пыльно-зелёные листы в палисадниках, рассовывала по карманам, я не знаю, не замечала ли она или только делала вид, что не замечала, чтобы не ругать. Мне хотелось бы ехать на трамвае, но она, цокая каблуками, вела меня к автобусной остановке. На ней была широкая юбка, и я время от времени случайно цеплялась за подол и путалась в нём.

Автобус подъехал почти пустой, жёлтый, открыл свою пасть. Меня часто укачивало в автобусах, и я, не успев войти, вся сжалась, но она не обратила внимания. Я понимала, что это не её дело, и ничего ей не говорила. На этот раз обошлось – я сидела возле «гармошки», сжимающейся и растягивающейся на поворотах, и так увлеклась разглядыванием, что забыла о беспокойном животе. Гармошка забавно пищала, как настоящая гармонь. Потом я смотрела в окно, на серые проходные заводов и растущие в небо узкие цилиндры труб. Из некоторых шёл дым, светлый или тёмный, или вырывался огонь, и мне представлялось, что это великаны и дым и огонь – их развевающиеся волосы, причём самая большая труба – это отец, меньшая, с большим огненным волосом – мать, ещё меньшие – дети и племянники. Мне они были симпатичны, потому что их летучие дымно-огненные волосы говорили о стремлении, о том, что они куда-то мчатся, хотя и выглядят неподвижными. Мне нравилось всё, что стремится. Но потом автобус вынырнул из заводской зоны, и замелькали домики – маленькие, беленькие, с зелёными ставнями, а потом вдруг выросла церковь, с золотыми куполами. Я бросила мимолётный взгляд на маму, но она смотрела куда-то вдаль. Она бы ничего не сказала, но я не хотела, чтобы она видела, что я рассматриваю церковь, потому что советскому ребёнку не следует смотреть на церковь – я не знала почему, но знала, что нельзя.

За церковью были одинаковые серые дома, мы приехали в нелюбимый мною центр города, но это был не конец пути, мы перешли на другую остановку и стали ждать. Я решила, что мы едем на кладбище, с этой стороны мы обычно ехали в сторону кладбища, где у нас было несколько человек, которых я часто путала, и ещё бабушка с дедушкой. (Второго дедушку и вторую бабушку я видела редко – они жили на Севере, приезжали с подарками и смотрели мимо; терпеливо отвечали, когда я мешала их разговорам с отцом.) Я обрадовалась, потому что поездки на кладбище я любила: любила людей на бледных фотографиях и землю внутри гранитного квадрата – то, чем стали их тела. Мне нравилось высаживать цветы и вырывать сорные травы на этой земле, носить в ведёрке воду, протирать задумчивые лица на камне. Но меня с собой брали редко.

Мы с мамой долго ждали на остановке среди других людей – некоторые оставались неподвижными, другие прохаживались. Пожилые мужчины в серых рубашках, старушки в кофтах и в цветных платках, они не знают жары, и у них тот же запах, что у старушек под нашим домом, на скамейке. Мне стало скучно, и я начала спрашивать, когда приедет наш автобус, я спрашивала и спрашивала, а мама совсем не сердилась, отвечала: «Скоро, скоро, скоро», но, видимо, сама в своё «скоро» не верила, потому что, коротко посомневавшись (я всегда видела, когда она сомневается, – она прикусывала в такие моменты нижнюю губу с правой стороны), она купила мне мороженое в стаканчике. Мороженое охладило скуку, я даже стала немного мёрзнуть и заметила, что уже начало смеркаться. Я удивилась, попыталась вспомнить, к кому или куда мы едем. Летом мы никогда не выезжали в темноту, по крайней мере не со мной. Зимой случалось, зимой темнеет рано, но зимой в шубе безопасно, как в доме, а в лёгком платье в сумерках мне стало беспокойно от беззащитности – и мама, учуяв мои мысли, обхватила меня руками и прижала к себе – к ногам, к животу, почти завернув в юбку. Мы долго стояли так, а потом она достала из сумки выглаженный носовой платок – чтобы я вытерла руки и лицо от потёкшего мороженого, остаток которого пришлось спешно запихнуть в рот – люди на остановке забеспокоились, заворошились – из-за угла выворачивал автобус, но не такой, на каком мы ехали до того, а белый «Икарус». Мама протолкнула меня вперёд и сама проскользнула следом. Я оказалась на сиденье у окна, а она стала рядом, закрывая меня от подвижной бормочущей толпы. Кто-то где-то говорил про «уступить место», я подскочила, но она тут же положила руку на моё плечо: «Сиди». Сказала тихо-тихо. Про уступить место наверняка говорили не мне, меня никто не видел за ней. Добавила: «Нам долго ехать, можешь поспать пока». Я хотела спросить, куда мы приедем, но голос утонул в автобусном гомоне и шуме двигателя. Мы поехали. Начало укачивать, но кто-то открыл окошко наверху, прохладный воздух заструился прямо мне в лицо, и я, захватив его ртом, вернула чёткость изображения исцарапанному сиденью передо мной. В окнах домов зажигался свет и двигались силуэты. Я на самом деле задремала, хотя раньше никогда не умела спать сидя – ни в автобусах, ни в машинах. Я просыпалась на каждой остановке, и на каждой выходило много людей, но мы оставались. Когда автобус подъехал к остановке, на которой нам следовало выходить, в пропахшем бензином салоне, кроме нас, не было почти никого. Мы спустились в темноту.

Я испугалась, но она была со мной, и можно было не бояться. Мы шли по утоптанной дороге без асфальта, она ступала широко в своей юбке, я старалась не отставать. Через её руку мне передавалась её уверенность.

Постепенно темнота рассеивалась, но не холодным фонарным светом, а пугающим светом огня. Костры. Остатки сна слетели. Вокруг костров ходили люди. Я крепче сжала её руку, сама не знаю, испугалась или обрадовалась от этой тайны, и она вдруг опустила лицо ко мне и улыбнулась. С ней бывало так иногда, очень редко – она становилась будто бы тоже ребёнком и улыбалась по-детски: «Побежали!» И мы бежали к кострам.

Я сначала растерялась среди объёмного смеха, выкриков, движения тёмных силуэтов. Мы были на пологом склоне холма, уходящем далеко вниз, в долину, где текла речушка. Мама присела прямо на землю возле одного из костров, расправила вокруг себя юбку. Я села рядом. Она здоровалась со знакомыми, переговаривалась, но не отпускала мою руку. Запах костра будоражил приятно, однако неопределённость тревожила. Ездить на природу, на реку, на шашлык – кто же этого не любит, но всегда ездили с папой, всегда днём. И с папой было ясно, что делать: собирать мелкий хворост, чтобы огонь хорошо разгорелся и мясо хорошо прожарилось, а здесь, ночью не видно веточек. В маминых прерывистых фразах (она говорила не так, как со мной дома, а более высоким голосом, приветливым и очень молодым) промелькнуло что-то касающееся меня, «не с кем было оставить», а может, показалось, я не слишком прислушивалась. Мне стало понятно, что это какой-то праздник. Без накрытых столов, но люди вокруг ходили взволнованные, резко-весёлые. Других детей, похоже, не было – я не смотрела, но разве я не заметила бы человека на высоте моих глаз. Многие в руках носили с собой чашки или кружки и прихлёбывали. Я думала, что это вино, как это бывает на взрослых праздниках. У мамы тоже была чашка. Она снова наклонила улыбающееся лицо ко мне и одной мне сказала через шум:

– Хочешь попробовать?

Я отрицательно покачала головой, я уже пробовала когда-то вино из оставленной рюмки – алое, оно так красиво просвечивало сквозь резной хрусталь, но оказалось горьким. В чашке, которую мне протягивали, вращалось что-то мутное, как суп. Я испугалась, раньше мне никогда такого не предлагали, но мама засмеялась:

– Не бойся, это просто ячменный... ты же перловку любишь? Это такое же, ты попробуй!

Отсветы огня играли на её лице. Я осторожно поднесла к губам. Напиток был тёплым и пах мятными конфетами.

– Это чай, – сказала я полувопросительно, она кивнула, говоря уже в сторону, с кем-то другим и прихлёбывая свой чай. Я глядела в огонь и слушала доносящуюся из дола монотонно-тоскливую песню. Теперь я ни за что не ушла бы отсюда – где происходит что-то другое, особенное, не совпадающее с будничной жизнью и похожее на Новый год.

Я не заметила, как опустела чашка из-под напитка, который мне сначала не понравился, она тронула меня за плечо, прошептала: «Ты только никуда не отходи, да? Будь здесь». Ей всё-таки мешало, что она взяла меня с собой, иногда я ей мешала и в других местах, куда ей надо было «по делам», но здесь мне не было скучно. Я подняла глаза, увидела вдруг, что мама совсем раздетая – как в душевой в бассейне, а я как раз сижу на крае её юбки. Щёки её были красными: «Подождёшь, хорошо? Я скоро вернусь!»

Я кивнула и, отвернувшись от огня, пощурившись, пока глаза привыкли к темноте, увидела других голых женщин. Они были не такими молодыми и стройными, как мама, они выглядели совсем иначе – прямоугольной формы, с большими складками на животе и ногах, они были похожи на высеченные из камня первобытные фигуры, которые я видела в музее. Тётки говорили, вроде как поддевали друг друга, смеялись, встряхивая крашеными кудряшками на голове. Я думала, что они напоминают воспитательниц из садика. Я никогда не задумывалась о том, что у воспитательницы под платьем могут быть такие складки и вообще что у них есть кожа под платьем, поэтому то, что раздетые воспитательницы выглядят так, удивило меня больше, чем всеобщая нагота. Она и не должна была меня удивлять – так же было в душевой, все люди одного пола.

Полные-складчатые уходили, и все остальные уходили. Я потеряла маму из виду, осталась одна у костра, и потрескивание горящих веток стало громче, чем нестройные людские выкрики. Мне показалось, что там, вдали, люди носили в руках огонь, горящие палки, и стало страшно. Шуршали растения вокруг. Тогда я сняла кофточку, платьице, сложила стопочкой, как перед дневным сном в садике. Сверху положила трусики и маечку. Рядом поставила сандалии. Осмотрела себя – ноги, складочку внизу, пуп, родинку на плече, руки. Когда шли от автобуса, мне было не то чтобы прохладно, но свеженько. У костра было очень тепло, а после напитка мне стало жарко, и теперь ночной воздух приятно щекотал, но не холодил. Пошла на шум.

Звёзды зазвенели, словно упали на меня, как только я сделала шаг от огня. Если бы не трава под ногами, мне казалось бы, что я иду через звёздные заросли, в которых вспыхивают, и тут же обрываются звонкие голоса, строчки песен. Я дошла до людей, до раздетых. Мелькали бежевым и серым люди: молодые, вытянутые и старые расплывшиеся, и сморщенные, которых совсем странно было видеть голыми, словно они вышли из своих могил, разворошив посаженные мной цветы. Все они бежали, бежали вниз, но потом сворачивали, хохотали, на минуту схватывались случайными хороводами, кружились, падали на землю, валялись на земле, скатывались вниз по холму, кричали. По тому, как развеваются их волосы, было видно, что им радостно. Они были похожи на заводские трубы со струящимся огнём. Я шла медленно, я высматривала среди них свою маму. Но чем ближе я подходила к ним, тем ближе становилась мне их радость. Она, как чуждая волна, накатывалась на меня, а я тихо сопротивлялась ей, не знаю почему, словно мне хотелось оставаться в звёздном одиночестве. Я шла медленно, среди раскручивающихся дисками галактик, и казалась себя очень большой – голой и большой в сравнении с другими людьми и со звёздами.

Я вздрогнула, когда меня схватили за запястье – но это была она, мама. Она снова наклонила своё красивое лицо ко мне, я удивилась, почему она взяла меня за запястье, а не за руку. Она смотрела весело, но не безумно и не ругала меня за то, что я не слушалась и не осталась у огня, а только странно так, словно мы играли в игру, прошептала: «Бежим?!» – как когда мы шли от автобуса.

И в ту же секунду трава заскользила под ногами, мы помчались, сильно ударяя пятками траву и чёрную влажную землю, и это было так, словно рёбра мои с хрустом раскрывались, из них вылетало мчащееся сердце, вперёд меня, утягивая меня за собой. А галактики вокруг сливались в светящиеся полосы, но что мне было до них. Я вся была в земле, я вбивала ступни в землю, я слышала эти удары, чередующиеся с собственным быстрым дыханием, и знала всё о земле и о ней, впившейся в моё запястье.

Взметнулись ледяные брызги – мы с размаху влетели в речушку. Крики стали громче, мамина рука потерялась. Я помедлила, ожидая её прикосновения, но её не было, и я сама вышла из воды, снимая с себя нити тины. Где-то вдали прозвучал её смех, она, наверно, бежала дальше. Маленькая зелёная лягушка, квакнув, прыгнула от меня в воду, и тут же поднялся целый концерт кваканья. Забыв о людях, я смотрела на лягушек и смеялась. Радость моя стала тихой. Я сидела на берегу и, не боясь бородавок, протягивала руку, чтобы погладить зелёную царевну, – но она с плеском упрыгивала от моей ладони. Она боится, что её могут поцеловать и жениться на ней. Громкие удары моих пяток о землю. Так я блуждала среди других – то бежала, как некоторые, то ложилась и каталась по земле, то танцевала, то пела, то спокойно шла, старательно утаптывая под собой землю. Иногда я начинала рассматривать голых женщин – поначалу мне попадались только женщины, но потом заметила, что мужчин не меньше, но их вид и не смутил, и не заинтересовал меня. Когда все, взявшись за руки, бежали в хороводе, я тоже бежала – наравне. Потом круг распался.

Чуть в стороне я увидела пару, голых мужчину и женщину. Со-  
единённые ртами, будто пили друг друга, спутавшиеся волосами, они распластались на голой земле – там ничего не росло ещё, но что-то было посажено. Я видела, что они ещё иначе соединены телами, внизу. Они двигались. То раскидывали руки, то свивали их друг вокруг друга, счастливые, переворачивались, и я видела то спину мужчины, то спину женщины. Кожа их была матовой, гладкой, ноги стройны, руки красивы. Ни отвращения, ни любопытства, ни удивления я не испытала. Я знала, что они делают, для чего и почему. Некоторое время любовалась ими, спокойно прислушивалась к их частому дыханию, не стесняясь. Пройдя, я опустила взгляд на свой белый живот с ямкой пупка.

(Годы спустя мне, поздновато, как всем советским детям, и не без смущения, спрятанного за серьёзностью, мама объясняла что к чему, как получаются и откуда берутся дети. Для меня это было ново и безнадёжно неприятно, никакой связи с лежащими на голой земле – картиной, которую я помнила смутно.)

Шла долго, пока не услышала тонкий смех. Опустилась на землю и увидела маленького-маленького ребёнка, младенца, голого, со складочками на ножках. Он тащил одну ножку в рот и хихикал. Пощекотала ему животик, он хихикнул довольно. Когда я снова подняла глаза, заметила, что все куда-то уходят. Они шли к прямоугольному бетонному зданию, белевшему в стороне. Стены без окон, в городе много таких недостроенных зданий. Смех удалялся, глох, и я думала, что испугалась, потому что с ними уходила моя мама, но потом я поняла, что я на самом деле не испугалась, что я бы могла идти с ними, но мне это не нужно... Я хотела взять на руки младенца, прижать к себе, но непонятно откуда взявшаяся высокая рыжая женщина беззвучно подняла его и, глянув на меня строго, будто я собиралась обидеть маленького, унесла. Я с размаху, как в воду, рухнула на спину, взглядом упёрлась в небо и засмеялась самой себе. Весь мир крутился вокруг меня, огромной. По небу одна за другой летели падающие звёзды. Так он, младенец, видел только что.

Потом опять появились голоса, они были порывистее, но тише, фразы обрывались, людей становилось меньше, словно они растворились в моей усталости, когда мне захотелось спать. Откуда-то взялась мама, в юбке, застёгивающая блузку теми же движениями, какими застёгивалась в обычное утро, и я размахивала своим платьем, пока она не сказала: «Ты собираешься одеваться?»

Смутно помню я зелёную машину, что-то вроде «Жигулей» или «Москвича», скользкое дерматиновое сиденье, потеющее под моей щекой, обрывок маминых неуверенных слов: «её вообще укачивает...», ночную лестницу нашего парадного.

А на следующий день приехал папа, пока я выбралась из постели, он уже выходил из ванной комнаты – выбритый, весёлый, и я с разбегу взлетела на него (он поймал) и ткнулась в его гладкую после бритвы, пахнущую одеколоном щёку. Его очки упёрлись мне в нос, он рассмеялся. Мама подошла, глянула так, что стало ясно: ей эти нежности не нравятся, сказала: «Давай, давай, одевайся, время!»

Время было быстро завтракать, собираться на парад, надувать шары. Почему на парад? Значит, это было папино возвращение из следующей командировки. На параде я сидела у отца на плечах, чтобы видеть проплывающие по дороги алые машины, девушек с цветами, юношей с барабанами, новые машины... Мама улыбалась, небо синело, несмотря на ноябрь, и мы, наверное, выглядели как образцовая советская семья с плаката.

Я ничего не рассказала отцу, ни в первое, ни во второе возвращение его из командировки, хотя она мне не говорила скрывать. Я как бы забыла – но это с одной стороны, а с другой – помнила, и за праздничным обедом у тёти Елизаветы помнила, и потом. Много дней. Много лет.

Несколько лет подряд, когда она говорила мне: «Одевайся», у меня сладкий комочек появлялся в горле, и я быстро-быстро сглатывала – туда? Но всякий раз оказывалось: к тёте Елизавете и её дурным сыновьям, в горисполком, в универмаг... Облачко французских духов. На кладбище – без духов.

Потом мы переехали – отцу дали новую квартиру, и ожидание, и без того давно ставшее неопределённым, почти беспредметным, растаяло окончательно. Сама ситуация больше не повторялась – теперь я   
оставалась дома сама, мама решала свои дела без меня, запах её духов стал терпимее, а я могла в её отсутствие безнаказанно шарить по полкам, находить и разглядывать запретные взрослые вещи.

Наше новое жильё было на девятом этаже, в одном из первых законченных домов нового недостроенного района. Глядя из окна с непривычной высоты, я представляла, что вокруг прошла война: изрытая земля, ни травы, ни деревьев, пропасти котлованов с растущими сваями. Кое-где белели бытовки строителей, в небо уходили подъёмные краны. Мы привыкли к постоянному грохоту молотов, забивающих сваи.

Мне нравилось это новое.

Но мама стала немного другой после переезда.

Как-то, стоя у окна, она сказала тихо: «Теперь я всё понимаю в жизни». Отец отозвался со стремянки – он ещё что-то подклеивал:

– В этой квартире мы хотя бы можем втроём разойтись в коридоре.

Я сразу схватила: мама недовольна нашим переездом, и отца это нервирует – сообразила и забыла. Моё детское сознание было похоже на поверхность прудика – тонкие веточки падают на неё, плывут некоторое время и уходят на глубину. Иногда веточки всплывают снова –   
так я вспоминала (несколько раз за годы) ту ночную поездку – куда, зачем мы ездили? Однажды, уже подростком, я спросила маму: «Ну ты помнишь, мы куда-то ехали одним автобусом, потом я ела мороженое, потом ехали вторым, а потом – там горели костры, и были люди, много людей». Она смотрела так, как смотрят, когда искренне хотят ответить, – но только пожимала плечами. Она не помнила? Как можно запомнить каждую поездку на автобусе, каждое мороженое. Но, казалось, она и моего вопроса не запомнила, погружённая в хозяйственные дела, она нарезала лук, она размораживала мясо и не хотела, чтобы её отвлекали.

Котлованы зарастали домами, в домах заводились люди, включали свет, открывали газ в новых плитах, выходили на улицу, сажали тощие деревья, те тянули сок из земли, расправляли под землёй корни, выпускали новые ветви, отращивали стволы, в тени деревьев качались коляски, в них набирали вес младенцы, становились школьниками, разбрасывали мусор, писали хамские слова на недавно новых домах и писали в подъездах, уже не новых – моя ойкумена стала жилой, древней, словно тысячелетняя история тяготела над ней, и когда рухнуло советское государство, она тоже приобрела вид страшноватый, обрушенный, который я, не сознавая того, любила, потому что имя ему было – свобода.

Свобода. В пятнадцать лет мне надоело ходить в школу. Там я встречалась с друзьями, но с друзьями можно встретиться и в другое время в другом месте, к тому же мне не хотелось видеть их каждый день. Я вставала утром, подводила глаза – они становились больше и прозрачнее, выходила из дому – будто в школу, но сворачивала к остановке, садилась в автобус и уезжала в центр города. При этом я продолжала хорошо учится: я знала, когда можно и когда нельзя прогулять, я доставала в поликлинике липовые справки и продолжала делать домашние задания по физике и химии, но главное – я научилась смотреть невинно, такая хорошая девочка. Весной мне нравилось бродить по городу без цели – иногда покупать в ларьке тушь для ресниц или сок, выкуривать в одиночестве сигарету, читая объявления на столбе, проталкиваться в тесноте спонтанных рынков, наблюдать с середины моста медленное течение реки, слушая свист машин за спиной, кидать дворовым собакам спрятанные в бархатной сумке куриные кости и заглядывать в желтизну их глаз. Город любил меня – меня догоняли молодые и не очень люди, хотели знакомиться, я, улыбаясь, давала им фальшивые номера телефонов, вызывая в телефонной сети переполох неверных звонков. Иногда, наоборот, жарко целовалась с кем-то на лавочке и теряла потом имя и координаты – мне казалось, я целовалась с городом.

Порой я садилась в троллейбус и ехала туда, где мы жили раньше, или туда, где никогда не бывала, бродила между хрущёвок, прислушиваясь к перекличкам полных женщин в халатах и отчаянной игре в домино на скамейке.

После бесплодной попытки разговора с мамой я убедилась, что в моих детских воспоминаниях какая-то путаница, что неудивительно – в этих ниточках, обрывках, лоскутках, кукольных волосах легко перепутать место и время, бодрствование и сон. Поэтому нельзя сказать, будто я специально искала. Просто однажды, одиноко прогуливая школу, я вышла на конечной остановке какого-то автобуса – номер не запомнила. Оказалась на незаасфальтированной дороге, светло-коричневой, пыльной, в засохших рисунках протекторов. Я пошла по дороге, мимо хилых садиков и косых заборов умирающего частного сектора, и вышла на свободный луг, склоном уходящий вниз, в балку, на дне которой текла речушка. «Речка-Вонючка», – подумала я сразу, введя её в ряд рахитичных тёзок-сестёр, разбросанных по городу и городам. Я узнала место – несмотря на ушедшие годы, стиравшие мою память школьными ластиками, вытянувшие меня вверх, вырастившие в голове разум и изменившие луг и реку.

Тогда была тёмная ночь, теперь ясный весенний день. Как и тогда, попахивало гарью, но теперь не светлым дымом костров, а жжёным пластиком, жжёной резиной. У дороги огромным холмом был навален мусор, от холма мусор расходился лучами, ложился на траву, а трава росла сквозь него и обвивала его, и жила дальше. Я села на землю, выбрав местечко почище, не боясь ни за юбку, ни за капроновые колготки. Несколько деревьев качалось на том берегу речушки. Достала бутерброды, заготовленные для школы. Мусор не отбивал аппетита – я, щурясь, смотрела на небо, по которому скользила прозрачно-белая облачная рябь, в лучах солнца становившаяся перламутровой, или вниз, на блеск реки, перегородив которую, ржавел скелет старой «Волги».

Утолив голод, я попробовала бежать вниз, повторить забытое, но свободного бега не получилось, я не могла отпустить себя, потому что приходилось осторожничать с мусором. Я не боялась ни пораниться, ни запачкаться, но сознание того, что можно вляпаться, было сильнее меня, даже если я бежала быстро, я не могла бежать беспредельно. Не расстроилась, там, где остановилась, легла на траву. Долго лежала, впитывая солнце, как ящерка. Лучи пели на одной ноте, облака шелестели, моя кожа теплела под одеждой. Краем глаза я увидела серый бетонный угол. Приподняла голову – большое здание, какой-то недострой советских времён. Смутно вспомнив, что и оно было в детском сне, я вскочила. Поспешила к нему, но ничего особого не нашла – серые плиты, из которых торчала ржавая арматура. Внутри было просторно, но ничего интересного – ещё один такой же бетонный прямоугольник, поменьше.

Разочарованная, вернулась, снова легла на траву, но больше не было безмятежности, а вскоре мой покой прервал взгляд: почувствовала   
на себе, сжалась, села. Увидела только чёрный силуэт, поднимающийся снизу, от реки. Мне стало страшно. Впервые за время свободы я поняла,   
как уязвима. Из телевизионных программ я знала, что меня могут изнасиловать или убить, или и то и другое. Но страшнее мне стало оттого, что моё тело здесь, среди мусора, никто не найдёт. На этом холме, в выброшенном разваленном шкафу искать не будут, я исчезну. Ноги сводило судорогой от готовности к бегу. Фигура приближалась, солнце в небе чернело от проснувшейся смертной тоски, я уходила быстро, не оглядываясь. Скорее всего, это был какой-то местный житель, наверняка он и не думал причинять мне вреда, самое большее – мог подшутить, или, наоборот, испугался бы, увидев меня лежащей на земле. Он крикнул мне вдогонку что-то, миролюбивое, даже вроде ироничное. Но я не смотрела назад, я спешила к остановке и, почти уверенная, что автобуса не будет, собиралась идти дальше, бежать дальше вдоль дороги, по маршруту автобуса, домой, пешком, бегом, как на уроке физкультуры во время кросса.

На остановке стояла старушка в цветном платке, с ведром, накрытым кухонным полотенцем, сквозь которое кляксами просвечивали ягоды. Увидев её, я смогла выдохнуть и остановиться. Она не пошевелилась, смотря туда, откуда когда-нибудь должен был появиться автобус. Она была меньше и слабее меня, но рядом с ней было спокойно. Теперь я решилась оглянуться.

Сутулый небритый дядька в синем спортивном костюме сворачивал за угол. Увидев, что я на него смотрю, подмигнул. Он нёс старую местами разорванную кошёлку, он жил здесь. Я скривилась от презрения к своей трусости. Автобуса пришлось ждать долго.

\* \* \*

Я просыпаюсь, моё лицо в подушке. Я задыхаюсь, нужно что-то сделать, но я ничего не могу – я снова валюсь в сон, из которого не выбраться. Эти сны снятся словами и красками, потом забываются начисто – не вспомнить ни слова, ни краски, остаётся только страх.

...Однажды, всласть нагулявшись в городе, я вернулась домой, а её не было дома. Странно, раньше она всегда была дома. Отец вернулся и спросил, где она, я читала в своей комнате, сказала, что не знаю. Я проснулась ночью, но свет горел. Отец был на кухне. Он ждал. И тогда мне стало страшно. Я подошла к нему, я кричала, что он должен звонить в милицию, он кивал, не глядя на меня, он протирал очки. Больше я её не видела. И никто не видел. Может, это лучше – я не видела того, что сталось с ней. Но сейчас, проснувшись, я думаю: «Я хочу к маме», – как ребёнок, и плачу, как ребёнок. Я хочу, чтобы у неё была могила, на которую я могла бы прийти. Порой мне казалось, что отец что-то знал, и я кричала на него, кричала, чтобы он всё мне рассказал. Я кричала, он уходил от меня в другую комнату, я шла за ним и кричала там. Я кричала, что мы не должны были переезжать. Порой мне казалось, что я знаю что-то, чего не знает он. Иногда я думала, что она исчезла вместо меня, что город сожрал её, выпустив меня из своих свалок и кладбищ, полян и многоэтажных дебрей.

Я открываю глаза, потолок такой белый, почти светится. Я понимаю, где я, и думаю: что я здесь делаю, но мысль ускользает, банальная, ненужная, сколько можно повторять одно и то же.

Я не помню, что мне снилось, то есть о чём я думала во сне. Людям снятся сны, а я во сне думаю, думаю, наверное, потому, что днём не успеваю думать. Слова и краски, они исчезают вместе с воздухом для дыхания.

– Тс-с-с! Дыши, дыши, рыбка! – это Франк Маркус. Нависает надо мной, как скала, которая в любой может обрушиться и раздавить. Мне кажется, что его тело закрывает от меня последний воздух. Набравшись сил, я говорю:

– Открой, пожалуйста, окно.

– Что тебе приснилось?

– Не помню.

Я на самом деле мало что помню. Я помню, что его зовут Франк Маркус и что он мой муж. Чаще я называю его первым именем.